

Помню себя маленьким. Мне то ли пять лет, то ли шесть. Вокруг ослепительное солнце и такая же ослепительная голубизна неба, какая должна быть в сказках. Заливаясь веселым свистом, над полынью порхает вверх-вниз желтогрудый жаворонок. Мне дают в руки небольшую картонную трубочку со стеклянной крышкой. Заглядываю в нее и замираю. Внутри не виданный никогда прежде узор из светящихся в полутьме разноцветных то ли бусинок, то ли камешков, то ли стеклышек. Я нечаянно поворачиваю трубку – и о чудо! Она оживает, стеклышки как по команде меняются местами и образуют новый орнамент. Я поворачиваю еще – и...

Это было настоящее чудо, может быть, первое из того, что я таковым посчитал в своей жизни.

И вот сейчас, будучи в душе почти что тем же ребенком, но уже сорока девяти лет, я лежу в темноте и пытаюсь уснуть. Но сон нейдет. Бессонница... Она начинает раскручивать узор, доставая из памяти различные воспоминания. Они не связываются ни в какие последовательные цепи, редко перетекают из одного в другое, а просто хаотично возникают разноцветными кусочками, и цвет их разный. И белый, и красный, и золотистый, и оранжевый, и синий. Разный-преразный, как говорил когда-то тот мальчик, которого я могу вспомнить теперь только на собственных фотографиях – черно-белых, как и все снимки того времени.

Ночь уже тает, растворяясь в приближающемся рассвете. Но мне уже все равно: калейдоскоп моей памяти крутится, выстраивая свои узоры из случаев и историй, а я запоминаю некоторые, чтобы переложить на бумагу, – так же безо всякой системы, как выпадают узоры в сказочном мире маленькой картонной трубки со стеклянным отверстием в крышке.

## *История первая*

Июнь. Уже тепло, хотя пока и не жарко. Листики еще не освободились от первородной клейкости. Впереди целых три месяца полного счастья – каникулы!

Звонок в дверь. Это приехал троюродный брат из тайги – Сергей, тезка моего старшего брата. Вместе с ним пришел мамин младший брат дядя Коля. Странно, почему у них такие каменные лица? Мамина улыбка медленно гаснет, в глазах появляется испуг.

– Дядю Толю убили, – тихо говорит дядя Коля.

Дядя Толя был младшим братом моей бабушки, бабы Шуры, маминой мамы. Я знаю, что ему уже много лет и что через три или четыре года у него юбилей – пятьдесят лет. Точнее, должен был состояться. И при этом он еще и ветеран Великой Отечественной войны, хотя все ветераны уже очень старенькие и седые.

На войну дядя Толя не должен был попасть по малолетству, но выглядел он заметно старше своих шестнадцати и приписал себе еще год или два – уже не знаю. В итоге вначале отправили дядю Толю в авиационное училище, а по окончании – сразу же на фронт. Служил он, правда, недолго – месяц до Победы и полмесяца после, потому что вскоре во время полетов у него началось кровотечение из носа. Дядю Толю комиссовали.

На войне уцелел, а тут... в мирное время, когда жить да жить... Отморозки, немногим более старшие, чем он сам был во время великой войны за выживание, лишили жизни честного человека, того, кто не так давно защищал их право родиться и быть на белом свете.

Дядя Толя работал машинистом. После перегона состава до Болотного довольный возвращался с работы и на радостях выпил в депо с мужиками. И оставалось-то до дома всего ничего – одна остановка, но тут пошли ревизоры и ссадили нетрезвого мужика из вагона.

Легкоколесая электричка быстро простучала по стыкам рельсов и свистнула на прощанье где-то в темноте, между густыми зарослями кедра и пихты, окружавшими дорогу. Дядя Толя сполоснул лицо на водоколонке, и в этот самый момент появились двое крепких парней. Всех деталей произошедшего уже не помню, знаю только, что они стали избивать дядю Толю. Они не были знакомыми и, может быть, даже впервые встретились.

На маленькой безлюдной станции не было никого, кто бы мог защитить безвинного человека. Лишь кассир-билетер со страхом наблюдала за происходящим из своего зарешеченного окошка. Слабая женщина не могла помочь живому дяде Толе, она смогла помочь ему уже после его смерти. Благодаря записанным ею номерам трехколесного мотоцикла, на котором увезли избитого до полусмерти честного рабочего человека, милиция сразу по горячим следам разыскала убийц.

На его теле насчитали шестнадцать отверточных ран. Но самое страшное – эти нелюди зарыли в землю еще живого, хрипевшего человека. Когда дядю Толю откопали, ногти на его руках были сломаны и забиты землей. Он хотел жить, он пытался вырваться из сжимавших его на глубине цепких лап смерти. Он мучился, рвался из забивавшей легкие и рот земли хотя бы к глотку воздуха перед кончиной. Пусть даже и смерть, но там, наверху – под звездами и лунным сиянием. А луна тогда светила ярко – полнолуние.

В зале суда женщинам становилось плохо, когда они узнавали об этом. А за что убили-то? Перепутали – так они сами заявили. Ревность к сопернику возлюбленной. Как можно перепутать с молодым парнем почти пятидесятилетнего мужчину?.. До сих пор загадка, да и тогда не особо поверил народ подобному объяснению. Но это уже неважно. О настоящей причине знает один только Бог. Он и взыщет с них. И для меня это главное.

И еще я помню, что в те дни буйно цвела сирень и по вечерам воздух заполнялся тяжелым жужжанием майских жуков.

### *История вторая*

Вспомнив двоюродного дедушку, стал думать и о другой родне – все так же со стороны мамы.

Расселяться по стране стала она, мамина родова, из Яшкинского района. В каком месте точно жили бабушкины Селиверстовы, я, к собственному стыду, не ведаю. А вот с дедовскими Воложаниными ориентируюсь уже чуток получше.

Прадед мой, Прохор, человек необычной судьбы и необычный сам по себе. Ростом в два метра десять сантиметров, первый кулачный боец Яшкинского уезда, ударом кулака то ли убивал, то ли сбивал с ног трехгодовалого бычка. А однажды нес на плечах полтора километра по снежной целине лошадь, зарезанную поездом. В то время за подобный недосмотр присуждали очень большие штрафы. Как уж там лошадь оказалась по зиме – не знаю. Но оказалась.

Вызванные по рации машинистом работники на месте происшествия никакой лошади не обнаружили. Лишь одинокие следы с каплями крови по бокам вели через поле в лес. Пошли по ним и вышли на опушку леса перед проезжей дорогой. Смотрят: есть следы людей, есть следы крови – жертвы столкновения нет. Увезли на санях.

Так вот, жили Воложанины в Синеречке. Да, собственно, с прадеда деревня-то и пошла, ныне вторая по численности в районе. А еще точнее, он ее и основал. Но об этом по порядку.

В три года прадед остался сиротой. Мать и отца забрала нередкая в те годы на Волге холера, верная спутница бурлаков. Усыновил мальчонку купец Воложанин, на которого и бурлачил прапрадед. И вот здесь снова загадка в судьбе деда Прохора, потому как фамилия приемного отца звучала на самом деле иначе. Об этом чуть позже. Родной же

отец был то ли Копытиным, то ли Копытовым, то ли Копытом, а то ли и вовсе Коровиным. Сгинула родовая фамилия во времени и наследственном беспамятстве.

Добрый купец старовер-беспоповец пуше родных баблоней полюбил смышленого, исполнительного хлопца. И со временем взял в свои руки повзрослевший Прохор все дело старевшего купца, пока приемные братья с сестрами жизнь прожигали в праздности. Каков масштаб оборотов был – тоже теперь не скажешь. Зато доподлинно известно, что ходили у купца Воложанина свои суда по Волге.

И до революции еще было время порадоваться хорошей жизни, да помер и второй отец. Бросились дети богатство делить, а Прохора как неродного решили обделить. Взял он тогда свою долю и уехал в Сибирь. И вот с этого самого момента фамилия его и изменилась так, что концов теперь родовых и не сыскать. То ли он всего лишь ударение поменял, то ли одну букву писарь уездный за мзду добавил-убавил. Но теперь мы ни родной фамилии прапрадеда, ни «двоюродной» – прадеда – не ведаем. Новая народилась.

Купил прадед землю в живописном месте и основал хутор. Завел табун лошадей, а надо заметить, что в конях он души не чаял. А к такой любви, может, были существенные основания: мама говорила, что прапрадед был из казаков. Однако доподлинно утверждать не могу, поскольку дядя Коля противоречил ей: из мужиков, мол, мы. Очередная практически неразрешимая теперь загадка.

А вообще, кони сыграли значительную роль в судьбе прадеда. Начнем с того, что, когда началась уже Гражданская война, старший сын его, Пётр, угнал табун в тайгу. Белогвардейцам прадед не дал ни одного коня: угнали, мол, лихие люди. А вот для красноармейцев Пётр по приказу отца пригнал несколько коней. На вопрос, почему он так поступил, батя ответил:

– Белые, сын, – ненадолго, а вот красные – надолго.

И, как оказалось, не промахнулся бывший купец, точный ход сделал в шахматной партии под названием жизнь. Во-первых, даже какие-то деньги получил, а во-вторых, запомнила новая власть добрый жест богатого мужика. И когда позднее раскулачивали крестьян и победнее, Лешего, как его звали в округе, не тронули.

Всего у него было десять детей – девять парней и самая младшая, поскребыш, долгожданная дочка, тетя Поля. Вообще-то она, конечно, была мне бабой Полей, но я никогда не называл ее так – слишком уж молодо она выглядела: типичная русская красавица, высокая, светлоликая, всегда смеющаяся. Тетя Поля...

Так вот, касаясь парней. Сколько их воевало на Великой Отечественной войне – не скажу. Доподлинно известно, что все служили в кавалерии и четверо погибли. Один из них – под Москвой, другого под Сталинградом скосила пулеметная очередь из засады.

Бабушкиным Селиверстовым в этом отношении вообще не выпало удачи. Даже сам хозяин, записавшийся на четвертую войну уже немолодым ополченцем, живым вернулся, без единого ранения. Лишь в Берлине, в самый последний день войны, его, артиллериста, контузило. Зато из девяти сыновей (а у Селиверстовых тоже было девять парней и одна девушка – моя бабушка Александра) до Победы дожил один лишь младший – Анатолий. Дядя Толя, о котором было рассказано в предыдущей истории и которого убили уже свои фашисты – русские.

Ну ладно, вернемся к нашему новооснованному хутору, а то стоило заговорить о конях, и унесли они меня далеко. Так вот, опять же кони. Куда без них в то время! Хозяйство у прадеда было большое, и стал он нанимать мужиков из соседних деревень – на покос, конюшню ставить, урожай убирать. А земля вокруг хлебная, надо к ней лишь руки приложить, чтобы у тайги лишнюю пядь отнудить.

Там, смотришь, один работник близ хутора построился, второй, третий. Глядь – и деревенька объявилась. А уж после Гражданской и вовсе заселили деревню: уж больно места красивые да для крестьянского труда добротные.

Не знаю, живет ли в Синеречке сейчас кто-нибудь из Воложаниных – разъехались вроде как все по России-матушке, – но вот такая история. Одна из многих на нашей земле. И вроде как был я в самой деревне, но в таком раннем детстве, что ничего почти и не осталось в памяти. Помню только сине-голубое покрывало на пикнике, небольшой водопад, тихую речушку, приветливые лица деревенских, на женщинах и девочках венки из свитых полевых цветов. Я играю у самой воды с какой-то девочкой в «петушка и курочку». А потом мы бьемся с ней стебельками конского щавеля – чей крепче окажется. И такой невероятной радостью наполнено все вокруг, что кажется: вот она – сказочная страна со сказочным водопадом и сказочными людьми.

Не стану утверждать наверняка, в Синеречке ли все-таки это было. Вот в Яшкинском районе – точно. А самое главное, что запечатлелось в памяти: какие же у всех красивые, светлые лица.

### *История третья*

Почему-то большинство осколков-воспоминаний связано с маминной родовой веткой, а в особенности с домом деда – Григория Прохоровича. Обычная изба-засыпуха, крытый двор с сеновалом, коровником и различными стайками, о назначении которых я и не догадывался, поскольку в мою бытность скотину уже не держали. В одной из стоек стоял мотороллер. Белый, с виду почти новый – так и тянуло забраться на удобное мягкое сиденье и помчаться по грунтовой дороге.

После казенной квартиры оказаться в доме, в котором буфет пах конфетами-подушечками и чем-то непередаваемо домашним, обжитым долгими-долгими годами, – это как в сказке очутиться. Откроешь утром глаза – за стеной потрескивает-бормочет о чем-то своем печка. Приткнешься к теплой стенке – хорошо!

У окна сидит возле радиолы дядя Коля. Поперек медленно крутящейся черной пластинки при каждом обороте подрагивает на ярком утреннем свете сверкающая дорожка. Не могу оторвать от нее взгляда. С пластинки доносится: «Червону руту не шукай вечерами...» Какой же красивый язык у этой невидимой тети. Украинский – я знаю.

И в самолете, который уносит вскоре нас обратно в Армению, тоже звучит из динамиков: «Червону руту не шукай вечерами...»

### *История четвертая*

Мой брат старше меня на пять с половиной лет. Это сейчас такая разница в годах незаметна, а в детстве воспринималась как пропасть. Я где-то внизу, с задранной головой, а брат высоко – на самом верху. Он уже почти взрослый, водит компанию с такими же рослыми парнями, у некоторых из которых уже темнеет под носом темная дорожка усов. Им всем уже по шестнадцать-восемнадцать лет, а некоторым даже по девятнадцать. У них и разговоры взрослые – про иностранные музыкальные группы: у кого лучше композиции и проигрыши и у кого солиднее «соляра» – у «Смоков» или «Дип Перпл». А то вообще заговорят о группах, названия которых я и не слышал никогда.

– А давай послушаем эту вещь у «Кисс», как ее... ну, там длинный проигрыш, «соляра» на целую минуту, – предлагает Жеша (друг моего брата белокурый красавец Женька Шадрин, которого уже нет на белом свете, – спился и умер, неприкаянный, сам себя отдаливший от нормальных людей.



Благо родители успели умереть немногим ранее и не узнали, как их любимый сын, будучи мертвым, целую неделю пролежал, никому не нужный, в пустой квартире).

– Да ну, «Пинк Флойд» – вот это вещь, особенно «Стенка».

И все замолкают, потому что мнение разбирающегося в музыке Юрки Гилёва авторитетно, да к тому же и в самом деле против «Пинк Флойда» не попрешь.

– Да, «соляра» ништяк, но я тут кассету взял у одного корешка, – говорит Зинёк, – давайте послушаем. Там еще ништяковой. Вещь!

Слово «вещь» – это вообще лучшая из всех существующих оценок – знак высшего качества.

– Давай послушаем, – одобрительно кивает головой «вожак» стаи Генка Чернявский – Чёрный.

Он чуть ли не каратист, достает ногой до выключателя и гасит свет. А еще он самый резкий и силен в драке. Чёрный окончил шарагу и весной будет поступать в военное училище.

Вечерами компания слушает свои вещи в подъездах, на улице или у кого-нибудь дома. Вид важный, многозначительное причмокивание, оттопыренные в знак восхищения губы. Иногда для пущей солидности пьют «Вермут» или «Агдам» и обязательно курят. Они почти взрослые и скоро пойдут в армию – надо погулять, да и будет хоть что вспомнить. Некоторые уже дружат с девушками. Ходят с ними под руки – на зависть тем, кто подругой не обзавелся. Из таких мой брат, влюбленный в Свету Кошелеву, но она предпочла ему Пашку Харитонову. К компании одиноких волков принадлежит и Пончик. Вообще-то его зовут Толиком, фамилию его я не помню, хотя вот фамилия младшего его брата Виктора в памяти сохранилась – Филиппенко, но он от другого отца, и фамилии у них разные.

Пончик не то чтобы толстяк – так, совсем малость; просто он невысокий и крепко сколоченный; ну и все-та-

ки и в самом деле немного пухловат. Но главное в другом – у него круглое лицо и всегда добродушная улыбка. А еще он любит пончики и однажды съел за раз то ли шестнадцать, то ли восемнадцать штук. Немудрено, что теперь он – Пончик. Он закончил шарагу и тоже пойдет весной в армию. И вообще, с нашего двора отправится целый десант: помимо названных, еще Вовка Бортников, борец и амбал, его явно заберут в десант или морпех, а то и вообще в спортроту; вместе с Чёрным собираются поступать в училище и Шкурик (Игорь Шкурский) с Виктором Филипповым (не Витей Филиппенко, это у них фамилии похожие и имена одинаковые, зато разница в возрасте целых четыре года и в комплекции – как между слоном и мухой).

А пока Пончик проходит практику в соседнем Яшкино, работает на монтаже линии электропередачи. Работа опасная, на высоте, но Пончику нравится. И, приезжая домой на выходные, он ходит гоголем – монтажник! Хорошие деньги и уважение среди настоящих мужиков. И восхищенные взгляды девчонок. Монтажник – это не какой-то там замухрыга инженер со своими ста двадцатью рэ в платежной ведомости. Пончик спит и видит себя на Севере или, может, даже на заграничке. Он так и говорит: «Годика через два поеду работать в Монголию».

Как Пончик управляется на высоте – не могу представить. Все-таки он увалень и немного напоминает Винни-Пуха и Евгения Леонова одновременно. Такой же смешной и беззлобный. Если бы Пончик умел сердиться, его бы, пожалуй, многие побаивались. Но он само добродушие, ведь настоящий пончик: мягкий, он даже не может затвердеть – разве что заплесневеет и только. Поэтому в дворовой компании Пончик котируется просто как свой парень. Однако в случае чего и за него поднимется весь двор, а подобное уже случалось, и с двадцать пятым кварталом в городе не

станут связываться даже хулиганистые северские – сорви-головы, живущие возле магазина «Север».

Пусть к жокакам Пончик и не принадлежит, его все равно все уважают и любят как веселого, свойского парня с нашего двора. Пончик на большее не претендует, ведь самое главное, что он полноправный член дворового братства. Это право он вполне заслужил.

Однажды вечером к нам забрели залетные северские. Их было много, сколько – уже никто и не вспомнит, как и причину, по которой они оказались у нас с немирной целью. Весь двор слышал крики с улицы: «Наших бьют!» – на которые выбегали из квартир наши парни и даже мужики постарше. Мой шестнадцатилетний брат тоже выскочил на подмогу, оставив за спиной не успевшую к двери маму с прижатыми от страха к груди кулачками.

Северских отлупили и прогнали. А Пончик на некоторое время стал героем двора. Оказывается, северские прицепились к сидевшим возле его подъезда двум Юркам – Попкову и Гилёву. Пончик, живший на первом этаже, первым выбежал на шум. При виде явно превосходящих сил он не растерялся, с ходу толкнул что есть сил ближайшего противника. Тот завалился в толпу, образовалась куча-мала. И несмотря на негеройские вроде бы дальнейшие действия, Пончик свое дело сделал. А действия были простыми. Пончик бегал по двору, уворачиваясь от нападавших, и кричал: «Наших бьют!» Тем не менее благодаря его неожиданному и удачному вмешательству нашим Юркам удалось во внезапной сумятице вырваться из круга северских. Вели они себя точно так же, как и Пончик, пока не подросли друзья и не надавали по шеям залетным наглецам.

А утром обнаружилось, что в заборе детской площадки отсутствует много кольев. Они валялись повсюду – на волейбольной площадке, в траве, возле турника и под лавкой шахматно-доминошного стола.

Наступил март. Парни находились в лихорадочно-возбужденном ожидании приказа министра обороны, после которого начнутся гулянки-проводы в армию. Кому-то грусть расставания, а кому-то радость повеселиться; ну а нам, мальчишкам, не до этих переживаний. Мы рубимся во дворе в хоккей, потому как под солнечными лучами снег начинает исчезать, а мы, видать, так и не наигрались за долгую зиму.

Завидев проходящего в стороне Витю Филиппенко, мы стали звать его присоединиться к нам. Вообще-то он старше большинства из нас на два-три года и уже редко появлялся с клюшкой, но все равно, случалось, вливался в нашу хоккейную компанию.

Но Витя ничего не ответил. Поглядев на нас как-то странно, как будто у него вдруг обнаружили нелады с головой, все так же молча исчез в подъезде. А вскоре к нам подошел мой брат и вымученно выдавил из себя:

– Пончик разбился.

Стало не до игры, и мы разбрелись по домам с трагической новостью.

Вечером брат рассказал детали. Оказывается, Толик нарушил главное правило безопасности монтажника – не пристегнул пояс к вышке и упал с высоты пятого этажа.

Это была первая потеря нашей молодежной дворовой компании. Не знаю, в чем причина, но я почему-то часто вспоминаю Пончика – добродушного, улыбчивого паренька, так и не успевшего уйти в армию.

### *История пятая*

Польша, город Легница. Воинский городок, в котором соседствуют безо всякого разделительного забора две крошечных части, каждая – в две роты. Одна – связисты, вторая – тылового обеспечения. Ее командир – мой батя, молодой перспективный старлей.

Квартира у нас большая – трехкомнатная. Мы, дети – двое старших братьев и сестра, – не понимаем, что туалет без сидячего унитаза, точно такой же, как на вокзалах небольших городов, и душевая в подвале – для родителей, скорее всего, плохо связывается с понятием нормальных условий. Нам же все здесь нравится, особенно, после белых известковых стен кироваканской квартиры, то, что каждое помещение окрашено в разный цвет. Зал – желтый, спальня родителей – зеленая, а детская – розовая. Мы никак не можем привыкнуть к такой красоте и перед сном шепчемся обо всем с сестрой: переполняющая нас радость не дает уснуть.

Но больше всего нам нравятся польские магазины. Они благоухают особым миром порядка и достатка, а еще – продуктовые – бубли-гумом, промышленные – кожей и чем-то неизвестным нам дома, в Советском Союзе, навевающим ощущение праздника при каждом посещении магазина.

Солдаты отца любят и боятся. Он строгий, но справедливый. С подчиненными добр и требователен одновременно. Однажды, будучи среди солдат в казарме, я сам был свидетелем, как при предупреждении о приходе командира выпившие «старики» выпрыгивали из окон. Зато многие из них после принятия отцом части ходили в отпуск, чем не могли похвалиться многие другие части Западной группы войск.

В городке детей мало, и я играю с полячками соседнего – за забором – дома, особенно часто с белоголовыми братом и сестрой. Их мама кормит нас вкусными супами, которые пахнут по-особому, не как наши, советские. От них исходит очень приятный и завлекательный аромат каких-то приправ и кореньев.

Прямо напротив наших окон располагаются окна пани Ирены. Мужа у нее не было, а сын когда-то играл за молодежную сборную Польши. Родители наши дружили с доброй пани, я бывал несколько раз у нее и держал в ру-

ках многочисленные медали ее сына. Сам он жил отдельно, и я видел его лишь раз – высокий, улыбчивый и внешне приятный парень.

Поляки вообще отличались приветливостью. Однажды я залез в мамину шкатулку, в которой хранились деньги и золотые кольца и серьги. Мы с сестрой заглядывали в нее и раньше, да только чтобы полюбоваться сокровищами. А тут, будучи совсем несмышленным семилетним мальцом, я спокойно набил карманы красивыми бумажками, цена которых мне была неизвестна, и отправился на прогулку за пределы части.

Проходя мимо строящегося дома, остановился и заговорил с каменщиками. Те в ответ так тепло улыбались с лесов, что мне захотелось в благодарность сделать им что-то приятное. Я достал из карманов свои разноцветные бумажки и стал протягивать им: «Панове, бардзо проше: возьмите злотые». Поляки переглянулись между собой с какими-то удивленно-серьезными лицами и вдруг рассмеялись.

– Ни. Джинкуе бардзо. Отнеси маме. Мама, – несколько раз повторили они.

Я послушался их совета, и потому родительский гнев миновал меня, ведь повинную голову меч не сечет. Но по дороге домой я еще встретился с Марекком – кудрявым парнем, готовившимся к поступлению в мореходку; он дружит с моим братом. Марек хорошо говорит по-русски. Заметив в моих руках кусок поднятого с обочины гранита, он протягивает необычно гладкий камешек:

– Держи, братишка, это намного лучше – морской камень. Настоящий.

Я с интересом изучаю светло-серые крапинки на его боках, затем с большой осторожностью кладу в карман и тщательно проверяю, чтобы он лежал на самом дне и не мог выпасть.

Марек смеется, скаля красивые зубы:

– Быть тебе моряком, братишка. Не потеряй. Скажи Сергею, пусть зайдет, я скоро уеду в морское училище. Чао! – поднимает он приветственно руку и уходит.

Столько прошло с той поры лет, а передо мной стоят как наяву добрый красивый Марек и веселые поляки с обращенными ко мне, глупому русскому мальчишке, улыбками. На улице светит солнце и отражается от их выгоревших рыжеватых волос. И нам всем так хорошо. Они еще не знают, что их дети нам, русским, улыбаться уже не будут. Не знают и то, что ненавистный Польше социалистический строй скоро рухнет и они обрящут свою мечту о праве на частную собственность. И эта мечта разделит их на хозяев и поденщиков. И последние не будут так ругать Советский Союз, как это станут делать их дети.

А пока мы улыбаемся, машем друг другу и не знаем, как мы, оказывается, счастливы...

### *История шестая*

Интересно, моя счастливая детская память так идеализирует то время так называемого загнивающего брежневского социализма или же такая межнациональная доброжелательность являлась естественной нормой?

Мы летим в самолете, я и папа. Он отлучается в туалет и оставляет меня на попечение соседа – грузина. И тут припичивает уже мне.

Папа при жизни говорил, что я не могу этого помнить, поскольку мне было всего-то полтора годика, однако же я помню. Не грузина, его забыл, хотя почему-то кажется, что он был худощавым, высоким и кудрявым. Зато мокрое пятно, расплзающееся по его темным брюкам как раз в том самом месте, помню как сейчас. На грузине белая рубашка, и прикрыться ему нечем.

Тут возвращается папа и, сконфуженный, начинает извиняться. Про извинения я, правда, не помню – это уже с па-

пиных слов. Зато помню, как громко и весело смеялся грузин, протягивая меня папе. Это я очень хорошо помню.

### *История седьмая*

Все о солнце и улыбках. Вроде как сахаристо все в жизни. Ан нет! Вдруг полезли из памяти обиды. Чтобы не забывал о двойственности жизни: там, где розы, там и шипы. На самом деле зарубок и ссадин в душе много, но все они какие-то неказистые, что и замечать неловко. Столько лет прожил, а настоящие обиды только с возрастом проявились. И самые саднящие, незаживающие – там, где, по здравому разумению, и не пристало им случаться, – в должном быть вроде как родным Литинституте.

Мы выходим на защиту диплома. В своей группе я иду в числе первых пяти, в марте, за три с лишним месяца до всеобщей сдачи. Спрашиваю сдавшего неделей раньше поэта Диму Зиновьева, как выглядит эта защита, что следует говорить.

– Да что там говорить?! – в голосе его проскальзывает легкое раздражение. – Ничего не надо. Выйдешь, скажешь: «Я – Олег Куимов» – и сядешь.

– Что, серьезно? – я не могу поверить.

– Ну да, у нас так было.

И вот долгожданный день моего триумфа. У меня нет ни капли сомнения, что пятерка мне обеспечена, ведь если не мне, то кому? В группе я считаю себя неформальным творческим лидером. Так что чувствую себя уверенно и спокойно дожидаюсь в зале своей звездной минуты.

Первым вызывают Алхаса Селезнёва. Он, радиожурналист, хороший ритор, выходит, толкает речь. Следом кафедру занимает Олег Швец. И он тоже толкает речь. И тут по монолиту моего спокойствия пробегают трещины, потому что я понимаю, что просто произнести свое имя и уйти – глупее глупого.



С трепетом слышу свое имя и, приближаясь к судьям своей творческой состоятельности, судорожно прокручиваю в голове, что бы такого сказать. И, конечно, как бывает в таких дурацких случаях, несу дежурные слова благодарности «родному институту» за «привитую любовь к литературе». При этом замечаю, как морщится несдержанный на язвительность завкафедрой мастерства Сергей Николаевич Есин, еще недавно бывший ректором. Точно так же минутой назад его скривило во время речи моего мастера – Толкачёва Сергея Петровича, назвавшего меня новым Шукшиным. В этот момент я, как опытная ищейка, чую, что заветная пятерка тает среди растянувшихся в ухмылке мелких морщинок бывшего ректора. Вообще-то я ближе к пофигистам, и мне безразлично, какие оценки будут в моем аттестате, потому как главное – диплом, однако же по мастерству я жажду высшей оценки. Все-таки она официально определяет твою профпригодность.

Предчувствие не обмануло – обидная четверка, в то время как у котировавшихся ниже Алхаса и Олега пятерки.

И все же это всего лишь цветочки. Сразу же поспела и ягодка, увесистая, как пощечина. Читая по списку наши фамилии, Есин вроде как оговаривается: «Ольга Владимировна Куимова». Тут же поправляется под всеобщий смех. И я тоже смеюсь. А что мне еще остается, хотя и понимаю, что это низенький, недостойный настоящего человека умысел. Не затевать же скандал: получится еще хуже. На дуэль бывшего ректора известного на весь мир института тоже не вызовешь. И втихую по мордасам пожилого человека не пристало бить, хотя на нем еще можно озимые вспахивать.

Невзлюбил меня Есин сразу, с абитуры. Помню, прихожу я в актовый зал на собеседование. Абитура вокруг трясется от волнения. Через какое-то время всеобщая лихорадка заражает и меня.

Наконец вызывают в кабинет допросов с пристрастием, как окрестил его один не прошедший по конкурсу поэт. Захожу.

Круглый стол. Сажусь по приглашению посередине. Множество глаз сверлит меня с любопытством, как подопытного кролика. Задают вопросы. Отвечаю. Довольно неплохо. Некоторые ответы даже вызывают всеобщее одобрение. Например, всем понравилось, что в последнее время я читал романы Драйзера (уважительное причмокивание: «Неплохое чтение») и «Братьев Карамазовых». Лишь лицо ректора остается строгим. Наверное, потому, что я редко смотрю в глаза, чаще – перед собой.

– Чего заработал? – спрашивает Есин.

– Да я не робею, – отвечаю, – просто внимательно слушаю.

Мне не приходит на ум рассказать об истинной причине того, что я не сижу все время с поднятой головой.

Всего лишь пару лет тому назад я вообще мог умереть от энцефалита с максимальной концентрацией чего-то там энцефалитно-вредоносного. В моей палате лишь мне повезло отделаться сравнительно легкими последствиями – несколькими годами сильной головной боли. Другие же попали на инвалидность, а двое и вовсе умерли год-два спустя. Энцефалит не насморк, шуток не понимает, поражает спинной или головной мозг. Врач сразу предупредил, что у меня болезнь отразилась на спинном мозге и что последствия будут сказываться еще долго.

И вот меня, на которого не раз равнялись ровесники, обвиняет в трусости сидящий напротив уверенный в себе седой человек со взглядом патологоанатома. Есин не знает, что у меня почти трясется от волнения голова и что, встретясь я с кем-то взглядом надолго, она затрясется как у паралитика – последствия энцефалита, те самые, о которых предупредил лечащий врач.

Есин не знает, что даже спустя несколько лет после того же самого собеседования я нередко не мог посмотреть в глаза даже ребенку. Чувствуя, какое я произвожу впечатление на людей, я напрягался еще сильнее и выглядел не самым лучшим образом. А шея просто каменела. Поэтому на экзаменах я избегал смотреть в лицо преподавателям. А если уж случилось экзаменатору сесть напротив и внимательно смотреть в глаза, то я ощущал себя тогда не в своей тарелке.

Но Есин этого, конечно, не знал. И все равно как-то не по-человечески, не как подобает известному писателю и знатоку жизни, посчитал меня шушерой, мелочовкой. А Есин уважает сильных, уверенных в себе. И не дай бог подать повод к сомнению – станет презирать (я далеко не первый).

Лит в далеком прошлом. И в отличие от дорогого сердцу Томского универа родным не стал. Да, альма-матер... только чужая.

И уверенный в себе энергичный человек, которого вспоминать не хочется, сам иногда продирается из глубин памяти и скребется по живому белыми холеными ногтями. И сто раз подумаешь, какой осторожности требует чужая душа. И будешь добрее. Такой вот урок человеколюбия.

### *История восьмая*

Я стою в коридоре Литературного института. Задержался, уходя, чтобы просмотреть размещенные на стендах газеты и информацию. Мимо проходят люди. С некоторыми я здороваюсь – мои преподаватели. Однако большинство мне незнакомы. И это несмотря на то, что учусь уже на четвертом курсе. Институт камерный. Все как на ладони. И каждый о каждом, от первокурсников до выпускников и преподавателей, знает не хуже, чем о членах собственной семьи. Но я заочник, вдобавок ко всему живу в собственной квартире, что и объясняет мое незнание. Старая как мир

история: настоящая студенческая жизнь проходит в общеаге. А если ты еще и заочник, появляющийся в учебном заведении нечасто, а в общежитии и вовсе несколько раз за шесть лет, то тут о полноценной студенческой жизни, а тем более о какой-то более-менее приемлемой информированности говорить не приходится.

Со стороны лестницы доносится звук шагов. Поворачиваю голову. Из-за угла появляется неприметный мужичок невысокого роста, скромно и неброско одетый: под серым пальто серый же костюмчик давным-давно уже вышедшего из моды покроя, наверное еще из добрых советских времен, и белая рубашка без галстука. Вижу его впервые и заключаю, что он, скорее всего, не из преподавателей. Хотя... все может быть в нашем институте, выделяющемся из числа всех прочих своей необычностью. Столько выпадающих из привычных норм людей, как здесь, нигде больше не увидишь. По некоторым студентам явно скучает психбольница, много пьяниц, да и преподаватели ангельским поведением не отличаются: могут и выпить крепко, и в морду заехать, хотя с них-то спрос как раз все ж таки суров: если уж слух пошел, выгоняют – при мне такое случилось. А уж по числу колясочников, инвалидов ДЦП и аутистов Лит наверняка займет твердое первое место среди вузов всего мира. Творческие люди, они всегда вне всяких стандартов.

При виде мужчины в моей голове проносится: «Наверное, какой-нибудь писатель среднего звена или вообще литератор, каких в Москве легион, зашел в гости к друзьям». Я вежливо киваю ему: «Здравствуйте».

«Литератор» задерживает на моем лице неожиданно теплый взгляд, только глаза очень грустные, а меня поражает, как цепок и глубок этот взгляд. Круглый лоб в пол-лица выдает человека-мыслителя, но с виду неказист, и энергии крупного человека, как от предыдущего ректора Есина, от него не исходит.

Мне начинает казаться, что где-то я его уже видел, но потом понимаю, что просто впечатлен его взглядом и что, скорее всего, он относится к типу тех самых людей, при встрече с которыми обязательно возникает ощущение, что вы когда-то и где-то пересекались.

Отворачиваюсь. Прохожу вдоль стенда и останавливаюсь возле развернутого для чтения газетного листа. С фотографии на меня глядит... тот самый «писатель среднего звена». А под ней подпись: «В. Г. Распутин».

### *История девятая*

Первого сентября в наш седьмой «А» пришла новенькая – Таня. Вскоре мы узнали, что перевелась она к нам из-за какой-то неприятной истории, какой – мы не задавались вопросом, потому что новенькая быстро освоилась и стала своей. Труда ей это не составило: характер лидера; к тому же худенькая и жилистая, ростом выше среднего Таня оказалась прекрасной бегуньей и, не говоря уже про девочек, обгоняла и большинство мальчишек нашего класса.

Самые сильные и ловкие всегда вызывают особое уважение. А Таня вдобавок и училась хорошо. Ни по какому предмету не блистала и тем не менее была крепкой хорошисткой – не зубрилой, все понимала сама и давала списывать другим. Как говорится, своя девчонка, но в какой-то момент в одночасье превратилась в изгоя класса, совершенно как в фильме «Чучело». Причины уже и не вспомню, просто вдруг уважение сменилось презрением. Самые хулиганистые мальчишки могли плюнуть ей на портфель или незаметно приколоть булавкой к фартуку на спине листок с оскорбительной надписью.

Таня терпела. Поначалу, правда, пыталась сопротивляться, а потом смирилась, как смиряется перед разъяренной стихией рыбацкая шхуна, спуская все паруса, чтобы не опрокинул ветер.

Только что закончился урок физкультуры. Гардеробщица тетя Дуся ушла в другое крыло мыть полы, и мы, стайка оголтелых подростков, у некоторых из которых уже пробиваются усы и бас, издеваемся в вестибюле над Таней. Ее, напоминающую забившегося в угол худенького цыпленка с выпирающими острыми лопатками из сильно ссутулившейся спины, нам ни капли не жалко. Точнее, нет: что-то в душе все-таки саднит, но вид жертвы раззадоривает, заглушает этот жалкий внутренний шепот угнетенной совести, потому что мы все считаем себя сильными, волевыми. И нам хочется, чтобы об этом знали не только мы сами. Пусть это увидят и другие! Плевки сменяются на пинки.

Я шустрый, привык проявлять смелость и порой даже бесшабашную отчаянность. И сейчас тоже не хочу отставать от прочих. Уподобляться верблюду мне зазорно, даже как-то противно. И пинать примитивным способом тоже считаю мелочью, ведь в негласном рейтинге самых сильных драчунов класса я делю почетное третье место с Саней Асеевым. Правда, все растут, а я по-прежнему остаюсь все таким же маленьким и худым и стою на физкультуре предпоследним среди мальчишек. Поэтому некоторые уже подумывают о том, чтобы подраться со мной. Глядя на меня свысока, они уверены, что победят и поднимут свой авторитет. Нет уж, мотайте себе на ус, что у меня железный характер. Пусть видят, что я суровой закалки и умею работать ногами.

Я разбегаюсь, подпрыгиваю и бью это «чучело» двумя ногами в грудь. От толчка Таня ударяется спиной об стенку, а я, довольный своей ловкостью, поворачиваюсь в воздухе и мягко гашу руками падение. Такие трюки мы не раз проделывали на самбо.

Столько лет прошло, а я часто вспоминаю тот случай, словно частое прокручивание может стереть его из памяти. И все же прошлое нельзя уничтожить, но изменить настоящее можно...

## *История десятая*

С неба падали хлопья снега. Начинаясь едва ли не сразу за памятником горы скрылись за плотной белой завесой. Еще недавно оголенная земля казалась такой неудобной, холодной, а теперь вокруг сугробы. Какой волшебный мир для пятилетнего мальчишки!

Увлеченный этим чудом преобразования мира, я ухожу вверх, туда, где скрываются горы. Мальчишки почему-то испугались, и я иду один.

Подул мягкий ветерок, снежинки закружились, стали лететь мне в лицо и облеплять ресницы. Я прикрываю глаза и смаргиваю их, чтобы лучше видеть, но все равно не заметил, как ветер задул еще сильнее. Теперь снежинки понеслись с такой силой и так часто, что я перестал видеть, куда иду. И все равно что-то подталкивает меня: вверх и только вверх! Вот поднимусь и буду любоваться сквозь эту снежную завесу огнями своей пятиэтажки. А там уже спущусь вниз и – скорее к папе с мамой. Они, наверное, будут ругаться, ведь уже темно, но я не виноват, что стемнело так быстро, – это все снегопад!

Я оглянулся, чтобы увидеть свой двор вдалеке и мальчишек, – ничего не было: все исчезло за белой круговертью. Вокруг меня возвышались одни деревья. И тут мне стало страшно: я не знал, как вернуться домой. От ветра стало холодно, и по моим щекам покатались слезы, потому что в довершение всех бед рядом не было родителей. Где они? И я заплакал еще горше. Но не ревел – плакал. Плакал и шел в гору, петляя меж деревьев: оттуда, сверху, я увижу огни родного дома. Там, в квартире на первом этаже, меня ждут родители. Они, наверное, уже пришли с работы.

Ветер прекратился внезапно. Я огляделся и понял, что заблудился окончательно. Меня окружали одни лишь деревья. И никаких признаков присутствия человека. Сидя в сугробе, я размазывал по лицу горячие слезы. Сил идти уже не было.

Тогда я лег на спину. Небо стало проясняться, и из облачной хмури проявилось три звезды. Две из них были маленькие, как два колючих стеклышка, а одна светила так ярко и так притягивала к себе взор, что я успокоился и принялся неотрывно смотреть на нее. Мне стало казаться, что там кто-то есть, кто-то живет на ней и рассматривает меня с огромной высоты, может быть, через точно такой же бинокль, как у моего папы.

Вокруг стояла полнейшая тишина, как будто весь мир, вся жизнь сосредоточились между мной и подрагивающей в вышине звездой. Мы рассматривали друг друга – долго, пристально, с бесконечным интересом двух одиноких существ. Мне казалось, что она что-то шепчет мне. Затем, словно сообразив, что я не слышу, мерцающий синий шар сильно вздрогнул и протянул в мою сторону, как руку, узкий луч. Я прищурил глаза и заметил, что он устремился ко мне, разгораясь ослепительным сине-оранжевым светом. Стало теплее, и я позабыл о том, что заблудился и что меня ждут папа с мамой.

Сколько я находился в этом счастливом оцепенении, не помню. Незаметно веки мои отяжелели и прикрылись. Я уже засыпал, когда меня пробудил звук быстро хрустевшего снега, как будто кто-то бежал. Чьи-то сильные руки легко подняли меня в воздух, и я с радостью открыл сонные глаза. Это был папка – мой родной, дорогой папка! «Сынок», – счастливо улыбнулся он, укрывая меня на своей груди полами распахнутой шинели. Мы крепко-крепко прижались друг к другу, теплая капля коснулась моей щеки. «Папка, ты плачешь, что ли?» – обхватив его могучую шею, удивился я. «Нет, сынок, это, наверное, пот». – «Точно-точно?» – засомневался я. «Точно-точно, – рассмеялся папка, – мужчины не плачут».

И всю дорогу до дома, уцепившись за папкину шею, я вдыхал мой самый любимый запах – запах папкиного



пота, гуталина и еще чего-то непонятного, чем пахнет в части, и слушал рассказ о том, как он шел по моим следам и боялся, чтобы снег не повалил снова. А по дороге к нам присоединялись молодые офицеры нашего дома, тоже отправившиеся на мои розыски.

И мне было так хорошо, что хотелось, чтобы мы шли так всю жизнь. А еще мне хотелось скорее вырасти, чтобы улететь на ракете к той звезде, которая улыбалась нам сверху.

### *История одиннадцатая*

Мне восемь лет. Это мое первое лето на новом месте отцовской службы. Город Юрга Кемеровской области – родина родителей.

Отец – бывший спортсмен, знаком едва ли не со всеми тренерами города, вхож в раздевалки хоккейной и футбольной команды «Темп». Зимой мы ходили с ним на хоккей. Мороз не мороз, а народу на игры собиралось много. Очень увлекательно. Азарт, все вскакивают с мест, падающие с неба снежинки крутятся спиралью от залихватского свиста и криков: «Судью на мыло!» А когда надо, голоса нескольких сотен, а случается, и пары тысяч болельщиков сливаются в единый неукротимый призыв надежды и веры, которая гонит вперед своих героев: «Шайбу! Шайбу!» – так что о проходящем матче знают в радиусе едва ли не километра. А если наши забивают, то стадион прыгает, обнимается. И все в одном порыве, как будто одна душа на всех.

Да и «Темп» играет здорово, одна из лучших команд области. Если приезжает классная команда, как это было в кубковой игре с ангарским «Ермаком», то стадион забивается битком. А если кому-то мороз начинает покусывать ноги или залазить за пазуху, то можно погреться в подтрибунном помещении – возле буфета. Там и вкуснейшие пи-

рожки, особенно с мясом и дешевые – с ливером, и горячий чай, разом отогревающий конечности.

Большинство моих клюшек тоже из темповской разделки – батя добывал: заходил во время матчей и выносил, на зависть окружающим мальчишкам.

Но это было зимой. А теперь отец привел меня на футбол. В соперниках какая-то шахта. Стадион полон – первая игра сезона! – и галдит нетерпеливыми голосами слегка хмельных мужиков.

И вот наконец матч начинается. Наши играют гораздо лучше, но забить пока не могут. Один футболист лупит выше ворот с близкого расстояния. Спустя пять минут он снова мажет в подобном положении.

С трибун раздается с досадой:

– Не давайте больше Ерохе! Сикорского загружайте. Сикора, давай!

И Сикора, невысокий светлоголовый крепыш, старается, носится, как Валерий Борзов, и один раз после его удара гулко, на весь стадион, сотрясается штанга.

Кто-то впереди громко говорит:

– Сикора один раз штангу сломал.

– Да ну?.. – оборачивается к нему сидящий ниже сосед.

– Серьезно. Мужики рассказывали.

Но тут всеобщее внимание привлекает низенький коренастый молодой мужик, точно такой же блондин, как Сикора. Он стоит на беговой дорожке и не сводит глаз с поля. И вдруг, словно очнувшись от сна, оглядывает трибуну. Взгляд у него странный, как у ребенка.

– Витя, давай! – выкрикивает кто-то.

И этот крик подхватывается множеством голосов:

– Витя, давай! Витя, жми!

В Витиных глазах загораются шальные огоньки, и сам он начинает походить на плутоватого бесенка. Я понимаю, что Витя – дурачок.

Даже боковой судья отвлекается на происходящее за его спиной и упускает из виду, от кого ушел мяч за линию поля, вызывая недовольство игроков.

Витя наклоняется, отводит руки в стороны, как будто держится за руль мотоцикла, и громко имитирует рев двигателя, одновременно подгазовывая кистями, а затем припускает бегом по кругу. Стадион дружно хохочет:

– Витя, жми! Покажи им, как надо двигаться!

И Витя жмет. Через полкруга у него заканчивается бензин, мотор начинает чихать, и он заканчивает дистанцию вприпрыжку. Однако же до конца матча не останавливается, иногда подзаправляется бензином – и снова вперед!

Так я узнал Витю-дурачка – достопримечательность нашего города. И уже не удивлялся, если во время поездки на автобусе, чаще всего в районе второй школы или площади Ленина, где он, видимо, жил, вдруг раздавалось громкое «Жиж... жиж... жиж...», похожее на рев мотоциклетного двигателя. Мы знали, что это Витя. Он бежал вслед медленно подкатывавшему к перекрестку автобусу и поддавал газку.

– Витя, осторожно! Тросик не порви! – заботливо советовали ему в окно мужики.

Витя в ответ блаженно улыбался и несся на крыльях своего счастья.

А однажды, спустя пять или шесть лет, я поехал с ним на игру «Кузбасса» с харьковским «Металлистом». Автобус для футболистов выделил машзавод. Помимо темповцев, на которых мы взирали с тем же восторженным придыханием, с каким ныне дети воспринимают игроков «Барселоны», ехали и мы, футболисты детской команды «Олимпиец» – чемпионы области на приз «Кожаный мяч». Не знаю, насколько это верно, но взрослые говорили, что до нас юргинцы еще никогда не «брали» область. В любом случае эта поездка была для нас премиальной – заслуженно.

Приехали мы за пару часов до игры и сразу же отправились в столовую. Часть темповцев – из тех, кто постарше, во главе с центральным нападающим Пчельниковым – технарем, наматывавшим на носовом платке по двое-трое соперников на раз-два, – отправилась в магазин за газировкой. Я вместе с Серёгой Чужиковым увязался следом. Нам не терпелось увидеть изобилие областного центра. Пока мы разгуливали по гастроному, Пчела куда-то отлучился вместе с Попом – так звали могучего центрального защитника Попова, который запросто мог сделать удобную передачу сопернику, однако, несмотря на подобные промахи, пользовался любовью всех болельщиков за самоотверженность и за то, что мог жестко осадить любого костолома команды-соперника.

Вернулись ветераны сияющие, как два плута, сварганивших веселенькое дельце.

– Все ништяк... – заговорщически подмигнул Пчела компании, покосившись при этом в сторону юных собратьев.

– Времени уже мало. Надо спешить.

– Ну, тогда надо поторопиться, – сказал невозмутимо Поп (а он вообще отличался невозмутимостью, даже когда в его адрес свистели болельщики за пас в никуда). – Дойдем до стадиона, сядем в автобус, промочим горло... газировочкой.

– Так автобус уехал. Шофер сказал, что подъедет попозже. У него родня в Кемерово.

Пчела досадливо махнул рукой:

– Вот же... газировочки, ядрена корень, попили перед игрой для настроения... Разве теперь боление...

Я уже смекнул, о чем сыр-бор да печаль, и мне стало неловко, что из-за нас страдают такие уважаемые люди.

– Мужики, да вы не обращайтесь на нас внимания. Мы же уже не дети, чего нас стесняться?

Повеселевший Пчела одобрительно потрепал меня по голове:

– Молодец! Мужик! Где играешь?

– В «Олимпийце», центральный защитник. А на зональные поеду левым полузащитником.

– О!.. Молодец! Поп, твоя смена.

Мое плечо пригнула к земле тяжеленная рука Попа.

– Молодец! – повторил он слова Пчелы. – Ну пошли, сменщик. Только наши вредные привычки не перенимай, а то так и будешь только за «Темп» бегать. Пчела давно бы уже в высшей лиге играл, в «Кузбассе» вон в двадцать один год уже на замену начинал выходить... А все газировочка...

При последних словах все дружно рассмеялись и с шутками направились к ближайшим кустам.

Темповцы распили бутылку на четверых, четвертым был молчаливый правый защитник, фамилию и прозвище которого я, к сожалению, уже не помню. Глаза у всех заблестели и от выпитого, и от предвкушения матча. С воодушевлением раскупорили вторую.

К нашим раскидистым гостеприимным кустам подошли трое коренастых мужчин.

– Здорово, мужики! Мы не мешаем? – скорее для проформы спросили они.

– Да нет... кустов на всех хватит.

Рассмеялись.

– Мы все равно сейчас по-быстрому раздавим пузырек да пойдем, – договорил Поп.

– На футбол, что ли? – спросили соседи.

– Ну да...

– Так и мы тоже. Такой матч. Все Кемерово собралось.

Слово за слово, и компании объединились. Соседями оказались шахтеры. Углекопов узнаешь сразу: глаза как у штукатуренной модницы – настолько глубоко въедается в основание ресниц угольная пыль. К нашему изумлению, за «Кузбасс» болел только один из них.

– Я вообще-то болею за наших, но сам-то я из Харькова.

Вот и скажи, за кого мне болеть? – обратился самый большой из соседей, Василь, как называли его свои, к самому крупному из наших – Попу.

Тот почесал затылок.

– Да...

– Вот и я о том же, – продолжил Василь. – А вот Иван из Житомира. У него тоже точно такое раздвоение в мозгах.

– Да...

– Вот и я ж о том, – повторил Василь. – Будем болеть и за «Кузбасс», и за «Металлист». Все свои. Пусть пораду-ют нормальных мужиков красивой игрой, а победит тот, кто лучше играет и больше воли приложит. И чтоб по чести – без судьи и всякой такой малины.

– Это да, – подхватили все, – за это давайте и выпьем.

Шахтер из Житомира остановил поднятые стаканы на полпути:

– Подождите, мужики! А давайте лучше за то, чтобы в ничейку сгоняли.

– Нет! – вскинулись темповцы. – Только не в ничейку. У нас на них уже лимит исчерпан, так что ничья нам очков не добавит все равно. Пусть кто-нибудь обязательно победит. Если наши, то на пятое место выйдут. Ну а если «Металлист», то ему два очка во как нужны! – в высшую лигу идут. А ничья – ни вашим ни нашим. Одна дырка от бублика. Давай лучше за победу!

– Давай!

И со словами «за нашу победу» выпили. А чья уж там «наша» – неважно. Все же свои – советские работяги, одна лямка на всех. Да и день такой замечательный, и вообще жизнь прекрасна! Что делить, кроме дружбы и уважения?

А игра получилась на заглядение. Горели на поле в азарте и сибиряки, и украинцы. Зажгли и весь стадион. Болельщики, каждый с каждым, сплелись тугим узлом в одну благодарную болельщицкую душу – единую, не-

истовую, ревущую на все Кемерово в восторженном порыве счастья, когда всяк ближний – брат; даже дыхание у всех синхронизировалось. Тут и оглядеться по сторонам некогда, не то пропустишь что-нибудь интересное. Битва «Кузбасса» и «Металлиста» переросла в противостояние нашего Раздаева и их Литке. Харьковчанин сделал хет-трик, а нашему ветерану одного гола не хватило. Но и два в такие-то годы, в сороковник, – ого-го! Молодчага! Да при такой поддержке переполненного стадиона и жилу рвать будешь, лишь бы не ударить перед своими ребятами в грязь лицом.

Поражение «Кузбасса» нас, юргинцев, а особенно юных, особо не расстроило, ведь главное, что мы побывали на настоящем празднике жизни и футбола: видели игру первой лиги и голы легенды областного футбола – самого Виталия Раздаева. Возвращались домой возбужденные, веселые. Автобус летел стрелой по почти пустой трассе – навстречу розовым лучам спускавшегося на землю солнца. Мы, мальчишки, делились впечатлениями, а взрослые разливали «газировочку», теперь уже почти все. Налили даже Вите-дурачку.

В сказках после живой воды дураки обязательно обращаются удалыми молодцами. Сия участь не миновала и Витю. Раскрасневшийся, счастливый, будто заново родился на белый свет, гнал он свой мотоцикл по проходу: «Жиж-жжж-жжж...» – а обычно добродушное выражение лица стало сердитым, с каким-то безумным выражением в глазах. Похоже, вода оказалась не совсем живой.

Не замечая перемены в Вите, темповцы пьяно хохотали. Налили Вите еще. Теперь по проходу он уже не бегал, а шел медленно, приглядываясь к лицам мальчишек. Внезапно автобус тряхнуло, и Витя повалился на мои колени. Я со смехом слегка подтолкнул его, чтобы вставал, и без всяких задних мыслей пошутил:

– Витя, не газуй на повороте.

Но вместо ожидаемой улыбки в глазах дурака загорелся злобный огонек. Ошарашенный его странным пристальным взглядом, я спросил:

– Витя, ты чего?

И тут вместо ответа дурачок вдруг поднял руку и ткнул кулаком мне в нос. Я закинул голову, чтобы остановить закапавшую кровь, а чудо-богатыря оттащили темповцы.

Не знаю, почему мне вдруг вспомнился Витя, как и не знаю, жив ли он теперь, ведь дураки обычно долго не живут. Но вот вспомнился. И вспомнился с теплом в душе, потому что на дураков вообще обижаться грех, а он был дурачком особенным, подобных которому не сыскать. Витя-дурачок – добрая память родного города.

### ***Вместо эпилога***

Почему таким образом крутанулся калейдоскоп моей памяти и выстроил именно этот узор из прошлых историй – не знаю. А все же если задуматься, то и не совсем случайно...